



*«Ангелическое» и «демоническое»
в поэзии М. Ю. Лермонтова*

© Л. Н. КОПТЕВ,
кандидат искусствоведения

В статье рассматривается взаимодействие «ангелического» и «демонического» в поэтическом творчестве Лермонтова: от почти полного подчинения демоническому до отделения от него под влиянием ангелического.

Ключевые слова: поэт, «ангелическое», «демоническое», смерть, рай, ад, страдание, покой, огонь, холод.

The article discusses the interaction of «angelical» and «demonic» in the poetic creativity of Lermontov: from almost complete subordination to demonic to independence under the influence of angelical.

Key word: poet, «angelical», «demonic», death, heaven, hell, suffering, rest, fire, cold.

Соблюдая хронологический принцип расположения произведений Лермонтова, мы обнаруживаем в его творчестве столкновение «ангелического» и «демонического» начал в их взаимодействии и развитии, что позволяет проследить драматическую «историю души» поэта (как выразился И. Андроников). «Ангелическое» в искусстве понимается нами как начало созидательное, устремленное «вверх», к высшим духовным ценностям, представляющее картину создания целостного, прекрасного, светлого, подлинного мира. «Демоническое» же, напротив, – это стремление «вниз», к разрушению целостности, вплоть до полной гибели, либо к созданию искаженной картины мира, носящей порой чудовищный или обманчиво-привлекательный, масочный характер.

Исследователи затрагивали сходные темы. В. Соловьев считает необходимым начать родословную поэта с шотландского предка Томаса Лермонта: «ведун и прозорливец» «прорицательствовал» и был знаменит как поэт. «Демонизм» Лермонтова рассматривается как действие в нем демонов «кровожадности», «сладооастрастия» и «гордыни» [1]. Д. Мережковский предлагает метафизическое истолкование ведущей парадигмы – борьбу сверхчеловечества с богочеловечеством: Лермонтов – один-единственный человек в русской литературе, «до конца не смирившийся» [2]. В. Розанов в кратком очерке оплакивает потерю будущего пророка, способного создать «Священную книгу России» [3].

Мы говорим о демоническом как о разрушительной силе в человеке, хотя есть и другая традиция, идущая от Сократа, обладавшего, по его признанию, неким Даймоном, внутренним голосом, с которым он советовался в ситуации выбора. Имеются в литературе указания на общение с собственным Демоном (Гением, Духом-Защитником) Пифагора, Гермеса Трисмегиста, Аполлония Тианского и др. [4]. Иным направлением можно назвать шаманизм, утверждающий возможность «подселения» к человеку духа-покровителя как явления инициатического характера. В результате человек обретает особые способности [5]. Для христианства демон – злой дух. Православные исследователи говорят о результатах «подселения» такого духа: особенные душевные страдания, влекущие к самоубийству, беспросветное уныние, страх перед святыней, хула на Бога [6]. Иеромонах Иов (Гумеров) видит неудачу попыток Лермонтова вырваться из теней демонизма в том, что он мнует «путь христианского покаяния и духовного возрождения, без которого не может быть подлинного преодоления губительного демонизма» [7]. Нам представляется, что демоническое в творчестве Лермонтова, связанное с особенностями его личности и поначалу преобладающее, постепенно вытеснялось ангелическим.

Сам Лермонтов с юных лет отмечает свою выделенность среди обычных людей роковой чертой: «...По воле Творца / Всё, что любит меня, то погибнуть должно / Иль, как я же, страдать до конца» [8. Т. 1. С. 238]. И проявилась эта особенность уже в самом начале творчества. Все основные герои его произведений отмечены печатью страданий, связанных с любовью и ведущих к смерти. Уже в поэме «Кавказский пленник» (сюжет заимствован у Пушкина) тринадцатилетний поэт оснащает подробностями картину смерти Черкешенки, Пушкиным едва намеченную: ее «покров» плышет, «как саван погребальный», а «поутру труп оледенелый / Нашли на пенистых берегах. / Он хладен был окостенелый» [Т. 2. С. 140–141]. Гибнет у Лермонтова и сам герой поэмы. Подобный принцип построения осуществляется во всех поэмах раннего периода: «Корсар», «Преступник», «Джюлио», «Исповедь», «Каллы», «Последний сын вольности», «Ангел смерти», «Измаил-бей», «Аул

Бастунджи», «Хаджи-Абрек», «Боярин Орша». Несколько видоизменяясь, сохраняется этот подход и в более поздних произведениях: гибнут за любовь к Алене Дмитриевне муж ее Степан Калашников и опричник Кирибеевич («Песня про купца Калашникова»); гибнет Тамара от любви Демона: «Он жег печатью роковой / Всё то, к чему ни прикасался!» (поэма «Демон», 3 вариант, 1831) [9. С. 419]; в изгнание отправлена Мавруша за связь с юным Сашей в поэме «Сашка».

Так через совокупность сюжетов оформилась парадигма гибельности любви и ненависти к поэту, определившая метасюжет, охватывающий в той или иной степени все основные завершённые произведения Лермонтова: поэмы, драмы, прозу. Гибнет Эмилия, заколотая своим возлюбленным Фернандо, гибнет он сам (Испанцы). Принимает яд Юрий Волин, страдают близкие и любящие его (Люди и страсти); умирает мать Владимира Арбенина, возвышенно любимая им, умирает и сам Владимир (Странный человек); умирает Дмитрий Петрович, отец Юрия и Александра, произноса имя любимого сына, страдает Вера, любимая и мучимая обоими братьями (Два брата); Арбенин убивает любимую жену Нину – своего «ангела красоты», и сам сходит с ума. Воистину: «Всё, что любит меня, то погибнуть должно».

В прозаических произведениях присутствует похожая схема. Погибает Бэла, когда Печорин теряет к ней интерес; он убивает Грушницкого, в начале повести предстающего как его приятель, а заканчивающего смертельной ненавистью: «Нам на земле вдвоем нет места» [Т. 4. С. 138]. Страдания обеих женщин – Веры и Мери – вполне вписываются в эту формулу.

Действенность архетипа подтверждается и в поэзии. Тема гибельности любви и ненависти к поэту рассматривается в разных вариантах соотношения любви, ненависти и смерти: и как любовь-страдание; и как любовь недостойная, грешная к существу ангельскому; как ненависть-мщение, но и как смерть-разрушение; и как гибель в вечности, и как смерть-сон. Одно из вершинных, пророческих стихотворений 1841 года – «Выхожу один я на дорогу» – рисует картину желанной смерти-сна, где вечный смертный сон соединяется со столь же вечной песней-мечтой о любви.

Лермонтов признает источник своих «грешных песен» [Т. 1. С. 118] как небожественный («Я, Боже, не тебе молюсь») и связывает его с мотивом гибели. Перед лицом Бога он винится и молит «не карать» его за то, что «мрак земли могильный» он любит вместе с земными страстями. Что же мешает ему встать на путь спасения? Это зажженный в его душе «чудный пламень», «всесожигающий костер», «страшная жажда песнопенья» [Там же]. Но кто побудитель этого всесожигающего и столь гибельного для спасения души огня? Похоже, что причину видит Лермонтов в своем насельнике – Демоне, с которым он един: «мы на свете

с ним одни» [Там же. С. 210]. Именно Демон «озаряет» его ум «лучом чудесного огня» [Там же. С. 252]. Но этот же Демон, в нем обитающий, этот «верный друг могил» [Там же. С. 140], влечет поэта к изображению картин смерти, крови, поскольку Демон «живет... пищею земной», и это особая пища: он «глотает жадно дым сраженья / И пар от крови пролитой» [Там же. С. 251].

Версию о подселении к человеку некоего чуждого духа поэт выводит, видимо, из собственных ощущений. Так возникает сюжет поэмы, где «ангел смерти съединился со всем, чем только жизнь мила» [Т. 2. С. 220], оживив возлюбленную героя. Лермонтов сам отмечает предполагаемый нами момент подселения – смерть или смертельная болезнь человека. Известно, что ребенком он был нездоровым, и в раннем возрасте заболел так сильно и болел так длительно (три года), что даже ожидался смертельный исход. «Его спасли от смерти, – пишет он о детстве Саши Арбенина, в котором исследователи и биографы Лермонтова (Висковатов, Скабичевский, Соловьёв, Сакулин) узнают самого поэта, – но тяжелый недуг оставил его в совершеннейшем расслаблении: он не мог ходить, не мог приподнять ложки» [Т. 4. С. 367]. Болезнь эта имела важные следствия и странное влияние на ум и характер Саши, пишет далее Лермонтов. Его «обхватил» «скрытый огонь», породивший увлечение больного «грёзами души». Воображение стало для него «новой игрушкой». Так мы раскрываем смысл строк поэта: «Хранится пламень неземной / Со дней младенчества во мне» [Т. 1. С. 139]. «Неземной» характер «пламени» связывается как раз с неземным характером вдохновителя поэта – его Демона.

Поэтому важно рассмотреть смысловую оппозицию «огонь (жар, пламя) – холод». Внутри этой оппозиции раздваивается и каждая из сторон. Огонь горит в «сердце», «взоре», «полном огня» [Там же. С. 128], и это огонь «божественный», это «огонь любви» [Там же. С. 219], который «кипит в крови» [Там же. С. 24], это «пламень неземной» [Там же. С. 139], и поэт «одним высоким воспламенён» [Там же. С. 119]. Но огонь несет и опасность, поскольку это «неизвестный огонь» (поэма «Демон», 1833) [9. С. 443], он «губитель-пламень» [Т. 1. С. 132], «всесожигающий костер» [Там же. С. 118], а поэт – «жертвенник», сам «сгоревший от огня» [Там же. С. 153]. В последний период творчества *огонь, жар* приобретают паляще-безжалостный характер: «Едва взошла заря, / Палящий луч ее обжег / В тюрьме воспитанный цветок... / И, как его, палил меня / Огонь безжалостного дня» (Мцыри) [Т. 2. С. 66]. Жар может сопровождать даже смерть: «В полдневный жар в долине Дагестана / С свинцом в груди лежал недвижим я» (Сон), и даже после смерти действие этого огня сохраняется: «Случится, шепчешь, засыпая, / Ты о другом, / Твои слова текут, пылая, / По мне огнем» (Любовь мертвеца).

Огню, пламени, жару противостоят холод, лед, разместившиеся где-то там же – в душе поэта. Холод как некое особое качество проявляется в виде «гордости», «презрения», «ненависти» к людям и всему земному. Хладнокровен убийца (На смерть поэта), холодны «пепел» и «прах» останков умершего. «Холод» подобен обозначению какой-то грани личности поэта, живущего в постоянной раздвоенности, в борьбе с «огнем» и, одновременно, в сопряжении с ним: «И властвует в душе какой-то холод тайный, / Когда огонь кипит в крови» (Дума). Даже красота подчиняется власти холода: «грозный дух» поэта – «верный друг могил», способный предвещать гибель, – обладает «холодной красотой» [Т. 1. С. 140]. А если посмотреть «с холодным вниманьем вокруг», то окажется, что и сама жизнь – это «такая пустая и глупая шутка» [Там же. С. 37].

Сам поэт не сразу приходит к осознанию этой особенности своего дарования (или «таится», скрывая ее). Еще сохраняется вера, что горит в его душе «огонь божественный, от самой колыбели / Горевший в ней, оправданный Творцом» [Там же. С. 208]. В годы домашнего учения в своих поэтических упражнениях Лермонтов следовал распространенным представлениям о поэтическом творчестве (но, видимо, поддержанным и собственными ощущениями): его «порыв чудесный» наполнял «огонь небесный», поэт забывался в «райском сне» [Там же. С. 86–87], его вела «муза кротких вдохновений» [Там же. С. 110], а «жаром вдохновений» «согревал» «неизменный гений» – «хранитель святой» [Там же. С. 95].

Из *земного* и *небесного* складывается его поэтическое пространство с преобладанием и предпочтением *земного*: «Я не пленен небесной красотой; / Но я ишу земного упоенья» [Там же. С. 111]. В пересечении *земного* и *небесного* уточняется и образ вдохновителя, которого он называет уже «мой Демон». «Демон», «носясь меж дымных облаков», поставил свой «недвижный трон» на земле «меж листьев желтых, облетевших». Он «уныл», «мрачен», вселяет «недоверчивость», презирает «чистую любовь», отвергает «все моления», «равнодушно видит кровь» и «звук высоких ощущений / Он давит голосом страстей». Демон имеет отношение к творчеству, но наполняет его *неземным*, поэтому «муза кротких вдохновений» «страшится» его «неземных очей» [Там же. С. 110].

Двойственность внутреннего столкновения «земного», где властвует вплоть до «дымных облаков» Демон, и божественно-небесного мучает поэта. В порыве раскаяния «его дух.., услышав звуки райские, летит / Узреть... небесный вид» [Там же. С. 107]. Его покаянная молитва, обращенная к Богу, состоит из перечисления грехов: «...Мрак земли могильный / С ее страстями я люблю», «редко в душу входит / Живых речей твоих струя», «в заблужденье бродит мой ум далеко от тебя», «мир

земной мне тесен, / К тебе ж проникнуть я боюсь» [Там же. С. 118–119]. В то же время его дух устремлен вверх, к облакам, к вершинам Кавказа, «куда долететь лишь степному орлу» и где на скале чернеет «деревянный крест»: «О, если б взойти удалось мне туда, / Как я бы молился и плакал тогда» [Там же. С. 137].

Но имеется тайна, от людей скрываемая, – какой-то таинственный собеседник, общением с которым в «сердце» своем поэт дорожит, как своим «другим», поскольку, если «утихнет звук сердечных слов... один, один останусь я» [Там же. С. 139]. Его тайный собеседник – «грозный дух», «чуждый уму» поэта. «Грозный дух» представляет другую жизнь поэта («Две жизни в нас до гроба есть...») [Там же. С. 140], он располагается внутри самого поэта, в его «памяти». Сам представитель этой «другой жизни» способен к тому же пророчествовать о будущем человечества. Дух пророчества не оставляет поэта, отзываясь в нем «пророческой тоской» [Там же. С. 171], верой в собственное бессмертие («Мой дух бессмертен силой, / Мой гений веки пролетит» [Там же. С. 151]), выступая как самостоятельная сила в поэте: «Неведомый пророк мне обещал бессмертье» [Там же. С. 174]. Эта сила таится под покровом личности поэта, о чем он говорит иносказательно: «Темна проходит туча в небесах, / И в ней таится пламень роковой; / И кто его источник объяснит...?» [Там же. С. 175].

Вмеща «две жизни», «гордая» душа поэта готова вершить как зло, так и добро: «С такой душой ты Бог или злодей» [Там же. С. 177]. Невозможность разделить в себе земное и небесное мучительна. Это состояние – «меж радостью и горем полусвет», когда «жизнь ненавистна, но и смерть страшна», – не может ясно выразить «ни ангельский, ни демонский язык», «лишь в человеке встретиться могло / Священное с порочным» [Там же. С. 178–179]; видимо, это тоже о себе – ангеле и демоне одновременно. И «порочное» в поэте так сильно, что он уверен: «Кровавая меня могила ждет, / Могила без молитв и без креста» [Там же. С. 181].

В своей «ангелической» ипостаси поэт вполне допускает и даже ищет контакта с небом, раем и его ангелами, особенно, если в образе ангела предстает та, кого он любит: «Когда бы встретил я в раю / На третьем небе образ твой, / Он душу бы пленил мою / Своей небесной красотой» [Там же. С. 185]. Но такой контакт требует от поэта избавления от греховного поведения: «С тобою грех мне лицемерить, / Ты слишком ангел для того» [Там же. С. 198]. В демонической же ипостаси поэт с небом не дружен: «Я небо не любил, хотя дивился / Пространству без начала и конца, / Завидуя судьбе его творца» [Там же. С. 215]. В то же время небо ощущается как «дом»: «Мой дом везде, где есть небесный свод» [Там же. С. 234].

Осознание подверженности влиянию демонического в творчестве укрепляется, и в конце 1831 года растет убеждение, что демон живет внутри поэта и что «гордый демон не отстанет, / Пока живу я от меня, / И ум мой озарять он станет / Лучом чудесного огня» [Там же. С. 252]. Но, чтоб «залить» этот «огонь», поэту требуется видеть смерть и кровь: «Видеть смерть мне надо, надо крови» [Там же. С. 250]. Устрашающие образы смерти, в том числе и собственной, процессы разложения тела, пожирания его червями подробно (можно сказать, даже с удовольствием) разрабатываются поэтом (Ночь. I, Ночь. II). И в это время он готов «изречь хулы на небо», здесь он не с Богом: «Я на Творца роптал, страшась молиться» [Там же. С. 128].

Чего (или кого?) «страшится» поэт? Видимо, того, кто в нем, – это «грозный дух», демон поэта, который «чужд любви и сожаленья» [Там же. С. 251], которому «подвержены» «любовь», «надежда», «скорбь» и «мечь», который любит «мучить и терзать», который «точит жизнь как скорпион» [Там же. С. 140]. Поэт подчинен ему в своих желаниях изображения картин смерти и крови, но жаждет избавления от чуждой власти даже ценой самоуничтожения: «Я счастлив! – Тайный яд течет в моей крови, / Жестокая болезнь мне смертью угрожает!». Привлекательность смерти в освобождении от мучительных страстей – в «покое», поскольку после смерти «...Ни любви, / Ни мук умерший уж не знает» [Там же. С. 257].

Страдания поэту доставляет его срединное положение между небом и землей – положение изгнанника: «Он не был создан для людей» [Там же. С. 146], но не создан он и для небесной жизни: «Я не для ангелов и рая / Всесильным Богом сотворен» [Там же. С. 210]. Ощущение себя изгнанником, странником, чуждым среди людей, но избранным для какой-то цели, не покидает поэта и даже, пожалуй, составляет основу его мироощущения. Но это чувство избранности мучительно: «Как демон мой, я зла избранник... / Я меж людей беспечный странник, / Для мира и небес чужой» [Там же]. Обвинять некого: «Душа сама собою стеснена... / Находишь корень мук в себе самом, / И небо обвинить нельзя ни в чем» [Там же. С. 179]. Трудна борьба со своими страстями: «Пощади меня, пощади, Царь... небесный», – взывает Юрий Волин [Т. 4. С. 265]. Страсти забивают духовный слух героя, он не способен уловить влияния Божественной воли. Ему кажется, что такой воли нет вовсе, если ее не чувствует его сердце: «Где его воля, когда по моему хотенью я могу умереть или жить?». Приходит вывод, что человек покинут Богом... «несчастное, брошенное создание» [Там же. С. 294].

Внутренняя борьба дополняется внешней. Страдания поэту в мире доставляют люди: «Всесильный Бог... Пускай меня обхватит целый ад... Но только дальше, дальше от людей» [Т. 1. С. 230]. Временный покой дает лишь любовь к той, в которой видится небесное создание:

«С тобой, о дева рая, / Я провожу небесный час, / Не беспокоясь, не страдая» [Там же. С. 243]. Но и этот покой – лишь покой «безумца»: «Иль женщин уважать возможно, / Когда мне ангел изменил?» [Там же. С. 265].

И снова он остается «один – / Как замка мрачного, пустого / Ничтожный властелин» [Там же. С. 263], резко разводя внешнюю (гусарскую) «веселость и беспечность», воспоминания от «стука пиров» и внутреннее одиночество, когда «тебя никто не любит, / Никто тобой не дорожит / ...Ничье, ничье благословенье / Не улетает за тобой» [Там же. С. 291].

Поэт вновь делает попытку обратиться к Богу: «Царю небесный, / Спаси меня...». Вроде бы его просьба касается избавления от неприятностей обыденной жизни юнкера (1832–1834): от тесной куртки, «маршировки», «парадировки» [Там же. С. 291]. Но, подлинно, его молитвенная нужда гораздо обширнее и глубже: «Когда надежде недоступный, / Не смея плакать и любить, / Пороки юности преступной / Я мнил страданьем искупить... Тогда молитвой безрассудной / Я долго Богу докучал». И ответ был получен: необходимо «смирить страстей своих порыв» [Там же. С. 295].

В написанной в 1836 году поэме «Сашка», прикрываясь маской героя поэмы, он, возможно, говорил и о себе: «Дух незримый, / Но гордый, мрачный, злой, неотразимый / Ни ладаном, ни бранью, ни крестом, / Играл судьбою Саши как мячом» [Т. 2. С. 419]. Описывая своего героя, он, хотя и не берет «характер Саши выставить наружу», но предполагает, что, если какой-то «журналист» скажет, что Саша «бесом одержим», он, автор, с этим согласится [Там же. С. 411]. Впрочем, маска персонажа легко сбрасывается, и простиупающий под ней автор говорит о себе тем же языком, прибегая к тем же именованиям: «Но полно! Злобный бес меня завлек / В такие толки» [Там же. С. 434].

Острота столкновения поэта с демоническими силами мощно проявилась и в их проекции на современное общество. Надежду на «покой» он обретает, наконец, не в «гусарских» потехах юнкерских времен и не в салонах, где вращался в 1835–36 годах, а в гонениях, обрушившихся на него в 1837 году и позже после написания горьких пророческих строк, обращенных к «надменным потомкам», «известной подлостью прославленных отцов». Именно здесь проявилась непоколебимая вера поэта в «Божий суд» и в «грозного судию» который «все мысли и дела» «знает наперед». Именно тогда он проявляет стремление ощутить себя уже не *гонимым миром странником*, но подобным принесшему «ветку Палестины» «божьей рати лучшим воином». Как «верный часовой» святыни, вокруг которой «всё полно мира и отрады», он достоин небес «перед людьми и Божеством» [Т. 1. С. 12–13]. Именно тогда «смирятся» души его «тревога», земля и небо сливаются в гармоническом единстве в мирном сосуществовании в душе поэта: «И счастье я могу

постигнуть на земле, / И в небесах я вижу Бога». Тогда он чувствует возможным обратиться уже и к «Матери Божьей» с пронзительно-прокиновенной молитвою, поскольку в дотоль «холодном» для него мире он ощутил существование «теплой заступницы».

Осознав, наконец, назначение поэта: «Твой стих как Божий Дух носился над толпой», он повторяет почти дословно библейскую формулу: «И Дух Божий носился над водою» (Бытие. 1, 2). Лермонтов почти отделяется в своем сознании от демонической стихии, обретая способность к ангелическому наполнению своих произведений: «А надо мною в вышине / Волна теснилася к волне / И солнце сквозь хрусталь волны / Сияло сладостней луны...» (Мцыри). Божий мир в его высокой красе и величественном покое открылся поэту, проснулась любовь к нему: «Люблю отчизну я... / Ее степей холодное молчанье, / Ее лесов безбрежных колыханье, / Разливы рек ее, подобные морям».

Теперь он сам вступает в борьбу с демоницей в творчестве: «Не верь себе, мечтатель молодой, / Как язвы, бойся вдохновенья... / Оно – тяжелый бред души твоей больной / Иль пленной мысли раздраженье. / В нем признака небес напрасно не ищи» [Т. 1. С. 27]. «Признак небес» он находит в молитве: «Есть сила благодатная / В созвучье слов живых, / И дышит непонятная, / Святая прелесть в них. / ...И верится, и плачется, / И так легко, легко...» [Там же. С. 31]. Легко теперь поэту произносить, веруя, не только слова молитвы, но и трудные слова благодарности Богу за всё: «За всё, за всё тебя благодарю я» [Там же. С. 51]. И как в далеком 1830-м он перечислял в обращении к Богу свои грехи, причинявшие ему страдания и отделявшие его от Бога, так в 1840-м, перебирая пережитые страдания юности («тайные мучения страстей», «горечь слез», «отраву поцелуя», «месть врагов» и «клевету друзей»), он обретает христианское смирение перед лицом Бога, утверждая мужество православного стоицизма: «У Бога счастья не прошу / И молча злю переносу» [Там же. С. 55].

Не тяготеет над ним уже демоническая жажда бури, страданий, крови, напротив, герой реальных сражений кавказской войны, он «с грустью тайной и сердечной» думает: «Жалкий человек. / Чего он хочет!.. небо ясно, / Под небом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он – зачем?» [Там же. С. 59]. Сам поэт не преодолевает одиночества, но уже слышит Бога и способен воспринимать покой, разлитый в его мире: «Выхожу один я на дорогу... Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит» [Там же. С. 79]. Лермонтов снова склоняется к мысли о присутствии божественного источника своего дарования поэта и пророка, которому «всеведение» дал «вечный судия» (Пророк), подтверждая это «всеведение» описанием картины своего уже близкого конца в стихотворении «Сон».

Возможно, именно эта смерть стала результатом того, что поэту удалось, наконец, «развестись» с демоном, как он и пророчествовал ранее:

«Земля взяла свое земное, / Она назад не отдает» [Там же. С. 281]. С ранних пор он ощущал тесное единение со своим насельником: «Как демон холодный и суровый, / Я в мире веселился злом» (Демон. Посвящение, 1831) [9. С. 418]. В прежние годы тот, кого он называл «мой Демон», – это изгнанный из рая ангел, обитавший между небом и землей, а где-то в аду властвовал Асмодей со своими демонами-помощниками, на *его Демона* совершенно не похожими (Пир Асмодея). В многочисленных редакциях поэмы Демон сохраняет свой «романтический» облик, но в последнем варианте (1838) происходит преобразование: навстречу ангелу, несущему душу Тамары, «взвился из бездны адский дух... Как смотрел он злобным взглядом, / Как полон был смертельным ядом / Вражды, не знающей конца, – / И вяло могильным хладом / От неподвижного лица» [Т. 2. С. 110].

Желание и для себя посмертной судьбы Тамары, прочитывается в этих словах:

...Благо Божие решенье!
Дни испытания прошли;
С одеждой брэнною земли
Оковы зла с нее ниспали.
<...>
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила –
И рай открылся для любви!

Литература

1. Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 273–291.
2. Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества // М. Ю. Лермонтов: pro et contra СПб., 2002.
3. Розанов В. В. Лермонтов // Новое Время 1916. 26 апреля.
4. Carl du Prel. Die Mystik der alten Griechen Leipzig. Ernst Gunthers Verlag. 1888 [Эл. ресурс]. Код доступа <http://neverojatno.narod.ru/demon/golos.htm>
5. Федоров В. Тайны вуду и шаманизма. М., 2003.
6. Архимандрит Рафаил (Карелин) [Эл. ресурс]. Код доступа <http://www.vernost.ru/pogib04.htm>
7. Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров) [Эл. ресурс]. Код доступа <http://www.pravoslavie.ru/6861.html>
8. Лермонтов М. Ю. Собр. соч. В 4 т. М., 1957–1958. Далее указ. только том и стр.
9. Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 2.

Санкт-Петербургский государственный
экономический университет